

Хорхе-Луис Борхес

БЕССМЕРТНЫЙ

/пер. с англ. В.Кучерявкина/

"Нет ничего нового под солнцем", —
сказал Соломон. И, как Платон счита-
ет, что "всякое знание есть лишь при-
поминание", так Соломон говорит, что
"все новое есть лишь забвенное".

Фрэнсис Бэкон, Опыты, § 111

В начале июня 1929 года в Лондоне торговец-антиквар Иосиф Картафилос из Смирны предложил княгине де Ларенж шеститомник "Илиады" Попа (1715-22 гг) размером в малое кварто. Княгиня приобрела книги, обменявшиесь при этом с торговцем несколькими словами. По ее описанию, это был изможденный, будто выделенный из глины человек с серыми глазами, седой бородой и крайне невыразительными чертами лица. Он бегло и довольно скверно изъяснялся на нескольких языках. За несколько минут беседы он перешел с французского на английский и потом на загадочную смесь языка садонских испанцев и португальцев из Макао. В октябре от одного из пассажиров парохода "Зевс" княгиня узнала, что Картафилос, возвращаясь из Смирны, умер и был похоронен на острове Иос. В последнем томе "Илиады" она обнаружила рукопись на английском языке, обильно уснащенном латинизмами. Ниже мы предлагаем буквальный текст этой рукописи.

1

Насколько я помню, несчаствия мои начались в саду стоявших Фив во времена императора Диоклетиана. Я был участ-

ником последних египетских войн, не принесших, однако, мне никакой славы. Легион, где я был трибуном, квартировал в Беренике, на берегу Красного моря. Жизни многих храбрецов, жаждавших сражений, уносила лихорадка и порча. Мавританцы были побеждены, земли, прежде занятые войсками малых городов, навечно посвящены божествам Плутона; раз и надсегда покоренная Александрия тщетно молила кесаря о пощаде. Не прошло и года, как последний легион сообщил о победе, а мне так и не удалось хоть мельком взглянуть в лицо Марсу. Бездействие отчаяло меня и, возможно, послужило причиной опрометчивого решения предпринять экспедицию через обширные и ужасные пустыни с целью раскрыть тайну города Бессмертных.

Несчастья мои, как я уже говорил, начались в саду в Фивах. Всю ночь я не мог заснуть: какая-то борьба происходила в моей пуще. Я поднялся перед самым рассветом. Рабы мои спали, светила луна, и цвет ее был в точности таким же, как и цвет бесконечных песков. Какой-то всадник, изнуренный и окровавленный, прискакал с востока. Он свалился с седла в нескольких шагах от меня. Слабым и в то же время нетерпеливым голосом он спросил по-латыни, как называется река, омывающая стены города. Я ответил, что это Египет, питаемый небесной влагой. "Другую реку ишу я, — сказал он печально, — таинственную реку, которая очищает людей от смерти". Темная кровь текла из его груди. Он сообщил мне, что родился в горах по ту сторону Ганга; там, в горах, говорили, что где-то лежит на западе, на самом краю земли, можно найти реку, чьи воды паруют бессмертие. Он добавил, что на другом берегу реки стоит город Бессмертных, и в нем — великое множество амфитеатров и храмов. Перед рассветом он умер, а я решил отыскать этот город и эту реку. На вопрос пленные мавританцы подтвердили палачу рассказ путешественника. Кто-то вспомнил о Елисейских полях на краю земли, где жизнь человека длится вечно, кто-то — о горных вершинах, где берет свое начало Пактол, да берегах которого люди живут по ста лет. Когда-то я беседовал с философами в Риме, полагающими, что продолжение человеческой

жизни означает продление его страданий и умножение его сквербей. Не знала, верил ли я в существование Города Бессмертных, но тогда считал, что с меня довольно и одной задачи отыскать его. Флаций, проконсул Гетулии, дал мне две сотни солдат для экспедиции. Я набрал также наемников, которые говорили, что знают дорогу; они дезертировали первыми.

Позднейшие события непоправимо исказили воспоминания о первых днях путешествия. Мы оставили Арсинию и вошли в раскаленную пустыню. Мы пересекли земли троглофитов, пожирающих змей и не знающих речи, страну гарантов, у которых общие женщины и которые употребляют в пищу мясо львов; авгилов, поклоняющихся одному лишь Тартару. Мы преодолели иные пустыни, где песок черен и дневная жара так сильна, что передвигаться можно было только ночью. Мне удалось различить вдалеке гору, что пала свое имя Океану; на склонах ее растет молочай, который лишает яды силы, а на вершине живут сатиры — дикий и свирепый народ, погрязший в похоти. Мысль о том, что эти населенные варварами места, где земля порождает монстров, могут таить в своих пределах замечательный город, казалась нам непостижимой. Мы продолжали поход — ведь вернуться назад означало покрыть позором свою честь. Горстка отчаянных храбрецов — мы спали при свете луны, освещавшей наши лица; тела наши горели в лихорадке, протухшая вода, которую мы хранили в сосудах, вызывала у многих безумие и смерть. Потом началось шевертирство; следом за ним — бунты. Покавляя их, я не останавливался перед самыми суровыми мерами. Хотя я был справедлив, центурион предупредил меня, что мятежники, в жажде отомстить за то, что я приказал распять одного из них, замышляют мою смерть. Глубокой ночью поднялась песчаная буря, и я потерял их. Старая рана, полученная от критской стрелы, приносила днесильные мучения. Несколько дней я блуждал в поисках воды — скорее это был один огромный день, продолжительность которого умножалась палиющим солнцем, жаждой и страхом умереть от нее. В поисках верного направления я подожился на чьи-то щепы. На рассвете вдали замаячили пирамиды и башни. Мне

пригрезился мучительный сон; небольшой сияющий лабиринт, посередине которого стоит сосуд с водой; он мне хорошо виден, руки мои почти касаются его, но переходы так запутаны и сложны, я был уверен, что скорее умру, чем поберусь по него.

2

Очнувшись, наконец, от этого кошмара, я обнаружил, что лежу со связанными руками в прополговатой каменной нише; неглубокая, размерами не больше обычной могилы, она была вырыта в крутом склоне горы. Влажные, гладкие стены ниши были отполированы скорее временем, нежели руками человека. Я почувствовал болезненный трепет в груди — все внутри меня пытало от жажды. Выглянув наружу, я закричал слабым голосом. У подножия горы протекал грязный ручей, полузаиспаный какими-то обломками и песком; на противоположном берегу, освещенный лучами то ли закатного, то ли только что взошедшего солнца, сияя — сомнения не было — Город Бессмертных. Город был расположен на каменистом плато; я видел его стены, арки, фасады зданий, форумы. Около сотни неровных ниш, подобных моей, избороздили склоны горы и долину. В песке были небольшие углубления; из этих жалких нор /как из ниш/, виделись какие-то люди; кожа на их голых телах была бледна, редкие бороды украшали лица. Мне показалось, что я их узнал: это были существа из скотского племени троглодитов, которыми кишили берега Арабского залива и пещеры Эфиопии. То, что они не могут говорить и питаются змеями, меня дико не удивило. Потребность немедленно утолить жажду, пришла мне отваги. Я прикинул, что песок начинается не чаще, чем в тридцати шагах от меня; закрыв глаза, со связанными за спиной руками, я бросился головой вниз по склону. Затем, как чистый зверь, я окунул окровавленное лицо в воду и принялся лакать ее. Перед тем, как снова погрузиться в бред, не знаю, отчего, я произнес несколько греческих слов: "Граждан богатых, в Зелии живших мужей, пионы Эзеповы черные воды".

Не знаю, сколько раз день надо мной сменился ночью. В неведомых песках, больной, неспособный снова укрыться в

пещерах, без одежды, я предоставил свою горькую судьбу игре солнца и луны над моей головой. Трололиты, в варварской невинности своей, не могли мне помочь ни умереть, ни выжить. Тщетно я молил их препятствовать смерти. Наконец, мне удалось перерезать путы с краю скалы. На другой день я — Марк Фламиний Руф, военный трибун римского легиона — встал и попытался выпросить либо украсть первый кусок отвратительного змеиного мяса.

Жаждя увидеть Бессмертных, прикоснуться к стенам города, где обитают высшие существа, не давала мне уснуть. Трололиты также не спали, словно поганываясь о моем замысле. Сначала мне пришло в голову, что они за мной следят, потом я стал думать, что им передалось мое беспокойство — такое случается с собаками. Чтобы покинуть варварское седение, я выбрал самое оживленное время — начало вечера, когда почти все обитатели выходят из своих пещер и нор и невидящим взором глядят на закатное солнце. Я стал громко молиться, не столько для того, чтобы просить богов заровать мне свою благосклонность, сколько для того, чтобы запугать племя звуками произносимых слов. Затем, перейдя подувашанный шумами ручей, я двинулся в сторону города. Два-три трололита смущенно последовали за мной. Глядя на хрупкие тела, присущие и остальным их согеменникам, я испытывал скорее отвращение, нежели страх. Но пороге мне пришлось обойти несколько пещер направильной формы, напоминающих карьеры. Введенный в заблуждение величием города, я полагал, что он совсем рядом. Но лишь к полуночи я шагнул в черную тень его стен, которая напоминала идолопоклонника, распростертого на желтом песке. Нечто похожее на священный трепет заставило меня остановиться. Новизна и одиночество всегда вызывали у меня отвращение; поэтому я был рад, что один из трололитов щелкал за мной по конца. Я закрыл глаза и, не засыпая, стал ждать рассвета.

Я уже говорил, что Город был расположен на каменистом плато. Это плато, высокое, как горный утес, было не менее круто, чем сами стены Города. Тщетно я предавался утомительным поискам: в черном основании не было ни малейшей неровности, а в гладких стенах, казалось, нет и

намека на вход. Палившее солнце вынулило меня, наконец, поискать укрытия в пещере. В глубине ее я обнаружил шахту, в которую вели ступени, теряющиеся в глубоком мраке. Я стал спускаться. Миновав путаницу низких галерей, я оказался в большом, круглом, едва освещенном помещении. В нем было девять дверей; восемь из них вели в лабиринт, который преподательски приводил меня обратно, и только девятая /также через лабиринт/ вела в следующую комнату, точно такую же, как и первая. Не могу сказать, сколько было этих комнат; Неулавчи и вызванная ими тревога умножили их число в моем сознании. Зловещая, почти абсолютная тишина окружала меня, ни единого звука не раздавалось в этой глубокой сети каменных галерей, кроме разве шороха подземного ветра, причины которого я не мог понять. Бесшумно сочились и исчезали в расщелинах тоненькие ручейки ржавой воды. Ужас был в том, что я стал привыкать к этому обманчивому окружению; казалось невероятным, что в мире есть еще что-то, кроме пещер с девятью дверьми и плоских ветвящихся коридоров. Не помню, сколько времени я проплутал под землей; кажется, однажды я поймал себя на том, что в сознании моем слились в одно целое и ностальгия по мерзкому селению варваров наверху, и тоска по моему утопающему в садах родному городу. В глубине одного из коридоров я наткнулся на стену; откуда-то с огромной высоты на дне падал свет. В замешательстве я поднял глаза: прямо наде мной, чалко вверху висел был круг неба, такого голубого, что он казался пурпурным. В стену были вделаны какие-то металлические ступени. Ослабевший от усталости, я, тем не менее, стал карабкаться наверх, лишь иногда останавливаясь и судорожно всхлипывая от радости. Скоро я уже различал капители и астрагалы, треугольные фронтоны и своды, путаницу сооружений из гранита и мрамора. И вот, наконец, мне удалось выбраться из темных глубин мрачных и задутанных лабиринтов: я очутился в стенах этого великолепного города.

Место, куда я попал, напоминало небольшую площадь или, пожалуй, двор, который окружали стены многоярусного, неправильной формы здания; множество куполов и колонн украшало

это причудливое сооружение. Но более всего меня поразила его невероятная превность. Мне казалось, что оно превнее человечества, превнее самой земли. Это сразу бросалось в глаза /и даже несколько пугало взор/; казалось, только труд бессмертных зодчих мог воззвынить это строение. Робкий -
дначале, потом равнодушный и, наконец, в отчаянии, я блуждал по лестницам и коридорам этого безнадежно запутанного дворца. /Впоследствии я узнал, что ступени лестниц были неодинаковой ширины и высоты - это-то и было причиной моего крайнего утомления./ "Этот дворец создали боги", - была моя первая мысль. Изучив его необитаемые комнаты, я побаивал: "Боги, построившие его, умерли". Приняв же во внимание его странные особенности, я сказал: "Боги, создавшие его, были безумны". Я сознал, что сказал это с цепонятным для меня самого осуждением, которое почти переходило в раскаяние и было наполнено скорее интеллектуальным ужасом, чем дезваемым страхом. Чувство ужасной превности окружающего дополнялось другими впечатлениями - бесконечности, жестокости и сложной бессмыслицы.

Я выбрался из лабиринта, но великолепный город Бессмертных вызывал у меня страх и отвращение. Лабиринт есть система, созданная для того, чтобы сбить человека с толку - именно этой цели служит его архитектура, богатая симметричными элементами. Но архитектура дворца /исследованного мир не полностью/ вовсе не была симметричной. Она изобиловала туниками, высокими неподъемными окнами, странными дверьми, которые вели в пещеры и ямы, невероятным образом перевернутыми лестницами, чьи ступени и перила повисали в воздухе. Некоторые лестницы, слегка припав к какой-нибудь монументальной стене, через несколько поворотов вдруг обрывались во мраке высоких куполов. Я не уверен в точности всех моих описаний, до могу сказать, что и много лет спустя эти образы преследовали меня в ночных кошмарах. Я уже не могу определить, страдает ли та или иная деталь реальность или она цвеяна видениями, смущавшими меня по ночам. "Город этот, - думал я, - так ужасен, что сам факт его существования и его вечности - пускай он затерян где-то

посреди никому неизвестной пустыни — оскверняет прошедшее и будущее и даже неким образом угрожает светским. Пока он существует, ни один человек в мире не может быть сильным и счастливым". У меня нет желания продолжать описание; я могувести его, показуя, к образу хаотического смешения разнородных слов или чудовищу с телом тигра или буйвола, где головы, конечности и зубы кишат во всевозможных сочетаниях и взаимной ненависти.

Я не помню всех перипетий моего возвращения по сырьим и пыльным подземельям; запомнился лишь постоянный страх, что, выйдя из последнего лабиринта, я опять попаду на улицы гнусного Города Бессмертных — и больше ничего. Не исключено, что я сознательно заставил себя предать все это забвению, преодолеть которое мне уже не под силу. Обстоятельства моего бегства были, может быть, столь неприятны, что в какую-то минуту, о которой я также ничего не помню, я поклялся забыть о них.

3

Тот, кто внимательно читал описание всех моих злоключений, помнит, что один из троглодитов как собака сопровождал меня до самых причудливых теней городских стен. Выйдя из последнего лабиринта, я нашел его у входа в пещеру. Он лежал ничком на песке и неуклюже чертил и стирал какие-то знаки, которые напомнили мне загадочные письмена, что мы иногда видим в драке; они исчезают в ту самую минуту, когда нам кажется, будто мы вот-вот постигнем их смысл. Сперва мне пришло в голову, что это нечто вроде примитивной письменности, но потом я счел наилепшим предположение, что у людей, не знающих устной речи, есть письменность. Кроме того, ни один из знаков, которые я тут видел, не повторялся, что исключало идиотское, по крайней мере, значительно уменьшало возможность придать им какое-либо символическое значение. Он все чертил свои знаки, разглядывал их, исправлял. Внезапно, словно эта игра ему наскутила, он стер их рукой, потом посмотрел на меня и, как будто, не узнал. Однако, я почувствовал огромное облегчение /может быть, потому, что столь

велико и страшно было мое одиночество; я даже вообразил, что этот лежащий на полу дщеря недоразвитый троголит, с которым я обменился взглядами, хлест меня. Солнце так раскалило пустыню, что песок обжигал пятки, когда при свете первых звезд мы пустились в обратный путь к селению. Троголит шел первым. В этот вечер у меня в голове возник один план: я решил научить его понимать и, может быть, произносить несколько слов. Способность к первому - размышляя я - есть у собаки и лошади, ко второму - у многих птиц, например, у соловьев Цезаря. И как бы ни был неразвит ум человека, он всегда преодолевает ум неразумных тварей.

Троголит был столь смиренным и жалким, что в моей памяти всплыл образ Аргуса, старой умирающей собаки Одиссея; я решил назвать его Аргусом и постараться научить его отзываться на это имя. Но мне так и не удалось преуспеть в этом. Стогость и настойчивость были совершенно напрасны. Неподвижный, с безжизненными глазами, троголит не воспринимал, по-видимому, тех звуков, которые я старался ему внушить. Он казался очень чалеким, хотя находился всего в нескольких шагах от меня. Лежа на песке, подобно маленькому полуразрушенному сфинксу из лавы, он не обращал никакого внимания на то, как утро сменяет день, день - вечер и так далее. Не может быть, думал я, что он не понимает моих намерений. Я вспомнил рассказы эфиопов о том, что обезьяны нарочно молчат, чтобы их не заставили работать, и приписал молчание Аргуса подозрительности или страху. За этой мыслью пришла пругая, еще более нелепая. Мне казалось, что мы с Аргусом существуем как бы в различных мирах; что наши чувства, если и совпадают, то он совсем иначе сочетает их и создает из них объекты; я пумдал, что, вероятно, для него вообще не существует объектов - одна беспрерывная, головокружительная игра мимолетнейших впечатлений. Мне представлялся мир, где не существует памяти, где нет времени, я размышлял о возможности языка, состоящего из безличных глаголов и несклоняемых определений. Так шли дни, за ними - годы, пока в одно прекрасное утро не произошло событие, которое я назвал бы счастливым.

Ночи в пустыне обычно бывают холодными, но в ту ночь —
стояла страшная жара. Мне снилось, что река в Фессалии /куда я когда-то давно бросил обратно пойманную золотую рыбку/ пришла ко мне, чтобы облегчить мою участь. Я слышал, как она приближается, неся воды по красным пескам и черным скалам; меня разбудила прохлада и беспокойное бормотание лождя. Обнаженный, я вскочил и побежал ему навстречу. Ночь — уходила; под желтыми облаками все плакало, не менее радостное, чем я сам, полставляло в каком-то экстазе свои тела живительному потоку. Они напоминали мне одержимых божеством корибонтов. Аргус, обратив глаза к небу, стонал; струи власти текли до его лица, и это, как я узнал позже, была не только вода, но и слезы. "Аргус, — закричал я, — Аргус!"

И вслед за моими словами, словно вновь обретя что-то утраченное, когда-то очень давно позабытое, Аргус, с таким восторгом, замкаясь, проговорил: "Аргус — собака Улисса". И потом, все еще не глядя на меня, добавил: "Собака эта гниет в навозе".

Мы с легкостью принимаем реальность — возможно потому, что интуитивно догадываемся, что реальности не существует. Я спросил его, что он знает об Одиссее. Греческий язык он воспринимал болезненно, и я вынужден был повторить свой вопрос.

"Очень мало, — сказал он. — Меньше, чем самый халкий на свете рапсод. Промеж, должно быть, уже тысяча лет, как я сочинил это".

4

В тот день я понял все. Троглоиты — это Бессмертные, а джавий ручей — та самая Река, которую искал всадник. Город, чья слава покатилась по берегов Ганга, Бессмертные разрушили его уже около девяти веков назад. На его развалинах они воздвигли то безумное извращение, ту пародию на город, где я побывал. Они построили также храм безумных богов, которые правят миром и о которых нам ничего неизвестно, кроме того, что они совсем на нас не похожи. Это сооружение стало последним символом, по коего снизошли

Бессмертные; оно знаменует ту ступень, когда, считая тщетными все пеядия в мире, они обратились к чистому умозрению. Возведя Город, они позабыли о нем и стали жить в пещерах. Погрузившись в размышления, они едва воспринимали физический мир.

Все это рассказал мне Гомер; он беседовал со мной, — как с ребенком. Он поведал также о своем возрасте и о последнем путешествии, что он совершил, движимый, как и Улисс, желанием добраться до людей, которые не знали моря, не употребляли в пищу мяса, приправленного солью, и никогда не видели весла. Около ста лет он жил в городе Бессмертных. Когда Город был разрушен, он посоветовал построить другой. Это никого не должно удивлять; всему миру известно, что, — воспев войну в Идионе, он стал воспевать войну мышей и лягушек. Он был подобен богу, который мог сотворить космос, а вслед за этим — хаос.

Сам факт бессмертия довольно банален: все существа, кроме человека — бессмертны, ведь они не сознают смерти. Но знать, что ты бессмертен — божественно, ужасно и непостижимо. Я заметил, что у людей такое убеждение встречается крайне редко, разве что, если человек очень религиозен. Иудеи, христиане и мусульмане исповедуют бессмертие, но их преклонение перед жизнью в этом мире показывает, что верят они только в нее — ведь бесконечное число миров они оценивают лишь как награду или кару за то, что они сделали в этой жизни. Более разумной гипотезой мне представляется колесо жизни в некоторых индуистских религиях: в нем нет ни начала, ни конца, каждая жизнь является результатом предшествующей жизни и порождает последующую и ничто не определяет всего целиком... В многовековой практике республика бессмертных обрела совершенство в терпимости и почти совершенство в бесстрастии. Они знали, что, если человек живет вечно, то с ним случится все, что только может случиться — с людьми в этом мире. Обладая прошлыми и будущими добродетелями, он достоин всех благ, но будучи также порочен в прошлом и будущем, он навлечет на себя все возможные беды. Как в игре случая чет и нечет стремятся достигнуть равновесия, точно так же разум и неразумие взаимно себя поправляют

и сводят на нет, и, может быть, неискусно сложенная Песня о Силе — это та сила, которая уравновешивает какой-нибудь эпитет из эплог или апиграмм Гераклита. Самая мимолетная мысль подчинена невидимому замыслу и может стать венцом или же источником скрытого порядка. Я знал линей, творивших зло, чтобы спустя века в результате его совершилось добро — или потому, что кто-то его уже совершил в прошлом... С этой точки зрения все наши поступки справедливы, но они же вообще не имеют никакой ценности. Не существует ни моральных, ни интеллектуальных поборотелей. Гомер сочинил Одиссею; если постулировать вечную жизнь с бесконечным числом обстоятельств и изменений, невозможно по меньшей мере синекды не сочинить Одиссею. Всякий есть никто, одни бессмертный — это все человечество. Вторя словам Корнелия Агрини, я — это бог, я — герой, я — философ, я — демон, я — вселенная; в результате весь этот утомительный перечень означает лишь то, что меня просто не существует.

Мир есть система точной компенсации — эта концепция оказала огромное влияние на Бессмертных. В первую очередь она сделала их неувязанными для жалости. Я упоминал уже о превзих каменоломнях, разбросанных здесь и там по ту сторону ручья. Однажды в огне из них, чуть ли не самую глубокую, упал вниз головой человек. Не в состоянии нанести себе врем и умереть, он долго мучился от жажды — прошло семьдесят лет, пока они бросили ему веревку. Не интересовала их и собственная судьба. Тело для них было чем-то вроде покорного помашнего животного, которому достаточно было из жалости давать раз в месяц несколько часов сна, глоток воды и кусочек мяса. Но не следует приинимать нас до уровня аскетов. Нет удовольствия более изысканного, чем мышление, и этому удовольствию мы попирали всю нашу жизнь. Иногда какое-нибудь из ряда вон выходящее событие пробуждало нас к восприятию физического мира, как, например, в то утро, когда всех охватила первобытная стихийная радость при виде пожара. Но, мы крайне редко падали столь низко — все Бессмертные обладают способностью постоянно пребывать в совершенном покое. Мне припоминается один из них: я ни разу не видел, чтобы он

когда-нибудь вставал, и на его группе свила гнездо какая-то птица.

Среди выводков, вытекающих из постулатов, что все мировые явления уединяются другими явлениями, есть один, который, обладая весьма незначительным теоретическим значением, тем не менее побудил нас то ли в начале, то ли в конце десятого века рассеяться по лицу земли. Вывод этот можно сформулировать следующим образом: "Есть река, воды которой паруют бессмертие; следовательно, где-то должна быть пругая река, воды которой лишают его". Число рек на земле чалеко не бесконечно, и бессмертный путешественник, странствуя с места на место, рано или поздно вкусит воды каждой. Мы решили найти эту реку.

Смерть /или мысль о ней/ придает человеческой жизни характер некоей ценности, делает ее постоянной сострадания. Существование человека, будучи иллюзорным, трогает душу: любое его действие может оказаться последним, самые близкие люди пребывают, будто во сне, на грани исчезновения. Все у смертных имеет непреколящее значение, все будто бы находится в постоянной опасности. У Бессмертных же любой доступен /как и любая мысль/ есть не что иное, как эхо предшествующих им поступков в прошлом, череда которых не имеет видимого начала, либо верное предвестие других поступков, которые когда-нибудь в будущем повторятся на головокружительно ином уровне. И все в мире словно затеряно в бесконечном лабиринте нетускнеющих зеркал. Ничто не случается лишь единочды, ничто не обладает пррагоценным свойством случайности. Грустное ли, серьезное, или святое - все это для Бессмертных не имеет никакого смысла. Мы с Гомером расстались у ворот Танжера; кажется, мы даже не попрощались.

5

Я долго скитался по землям новых королевств и новых империй. Осенью 1066 года я принимал участие в битве при Стамфорд Бридж, не помню, в войске ли Гарольда, который не колебался, идя навстречу собственной судьбе, или на стороне злополучного Гаральда Гардфрида, захватившего шесть

/ или чуть больше/ футов английской земли. В седьмом веке хиджры, живя в окрестностях Булака, я занимался каллиграфическим переписыванием семи путешествий Синдбада и истории Бронзового ~~шах~~ города; теперь я уже не помню ни алфавита, ни языка, на которых были написаны эти книги. Во дворе Самаркандской тюрьмы я довольно долго превозился шахматной игре. В Биканере, а также в Богемии, я занимался изучением астрологии. В 1658 году я добывал в Колодваре, а несколько позже — в Лейпциге. В Абердине в 1714 году я поссорился на шеститомник "Илиады" Попа; помню, впоследствии я часто и с восторгом перечитывал ее страницы. Кажется, в 1729 году мне довелось обсуждать проблему происхождения этой поэмы с одним профессором риторики; помнится, звали его Джамбаттиста, и аргументы его казались мне неопровергимыми. 4 октября 1921 года, "Патна", корабль, на котором я плыл в Бомбей, должен был бросить якорь в одном из портов на побережье Эритреи ^{х)}. Я сошел ~~шлюпки~~ на берег, и тут мне вспомнились мные, плавным-плавно минувшие утра, тоже на берегу Красного моря, когда я был римским трибуном, когда лихорадка, порча и презрность уносили жизни моих солдат. На краю города мне попался ротник с чистой водой. Слечуя своему обычью, я снял несколько глотков, и, поднимаясь обратно по береговому склону, обнаружил, что комочки какого-то куста поранили мне руку. Боль показалась мне необычно острой. Еще не веря в случившееся, безгласный и счастливый, я созерцал мгленное набухание пррагоценной капли крови. Снова я смертен, повторял я про себя, снова я такой же, как все. В ту ночь я спал до рассвета...

Через год я перечитал эти страницы. В них, несомненно, отражены истинные события, но мне почудилась какая-то фальшивь в первых главах и в некоторых абзацах последующих. Возможно, она явилась результатом злоупотребления некоторыми подробностями описания. Этому приему, который всегда придает — повествование некоторый оттенок фальши, поскольку пограничи могут существовать в действительных событиях, но не в наших воспоминаниях о них, я научился у поэта... Однако,

х) В этом месте рукописи видна поправка. Возможно, кто-то стер название порта.

мне, кажется, удалось отыскать более глубокую причину. Я привету ее, несмотря на то, что она может показаться фантастической.

История, которую я рассказал, кажется выдуманной потому, что в ней, слиты воедино события, происходившие с двумя различными людьми. В первой главе говорится, как некий всадник спросил у Фламиния Руфа о названии реки, что омыает стены стоявших Фив; Руф же, употребивший по отношению к городу этот эпитет, ответил, что река называется Египтом. Но произносить такие названия мог, скорее, не он, а Гомер. Именно так он говорит о стоявших Фивах в "Илиаде", а в "Одиссее" устами Протея и Умисса неизменно называет реку Нил Египтом. Во второй главе римлянин, напившись воды, парящей бессмертие, произносит несколько слов по-гречески; эти слова прина掸яют Гомеру — их можно найти в конце знаменитого перечня кораблей. Позже, во дворце, от которого у него голова дала кругом, он говорит об "осуждении, которое почти перешло в раскаяние"; слова эти также следуют отнести к Гомеру, по замыслу которого и возник весь этот ужас. Вот эти-то аномалии и смущили меня; другие же, эстетического порядка, позволили мне поискаться по истине. Их можно найти в последней главе, где говорится о том, что я участвовал в битве при Стамфорд Бридж, переписывал путешествия Синлбада Морехода в Булаке и дописался на "Илиаду" в английском переводе Попа в Абердине. *Inter alia* читаем: "В Биканере, а также в Богемии, я занимался изучением астрологии". Все эти сообщения верны, но вот что важно: они как бы дочеркнуты. Первое из них явно принадлежит воину, а последнее указывает на то, что рассказчик был, скорее, поглощен не воинскими занятиями, а размышлениями над судьбами людей. Дальше еще любопытнее. Записать все это меня заставило какое-то темное, стихийное чувство: что-то трогательное было в этих фактах. В устах римлянина Фламиния Руфа слова эти не вызывают жалости, когда же их произносит Гомер, дам становится его харь. Удивления постойно то, что в тринацатом веке ему

пришлось переписывать приключения Сундбана, второго Улисса, — а еще через несколько веков отыскать где-то в северной стране вариант своей Илиады, изложенной на варварском языке. Что касается фразы, содержащей слово "Биканер", то ясно видно, что она была построена именно писателем, имевшим славость /как и автор перечня кораблей/ к изысканному слову. ^{x)}

Когда близится конец, в памяти не остается образов — олни лишь слова остаются. Нет ничего странного в том, что время смешало мои слова со словами, обозначившими судьбу того, кто столько веков был моим спутником. Я был Гомером; скоро я стану Никто, как Улисс, скоро я стану всем человечеством — я буду мертв.

Постскриптум /1950 г./ — Среди комментариев, которые вызвала предыдущая публикация, мне представляется самой любопытной, если не самой изысканной, статья, принадлежащая цепкому перу доктора Наума Корловера под библейским названием "Многоцветная риза" /Манчестер, 1948 г./ В ней около сотни страниц. Автор статьи рассуждает о греческих и позднелатинских центонах, о Бене Джонсоне, характеризовавшем своих современников отрывками из Сенеки, о Вергилии, благовестующем Александра Росса, об изысканных проделках Джорджа Мура и Элиота и, наконец, о "рассказе, приписываемом антиквару Иосифу Картафилосу". В первой главе его он обнаружил интерполяции из Пдения /Естественная история 1,8/; во второй — из Томаса де Квинси /Записки, № 439/, в третьей — из письма Лекарта посланнику Пьеру Шану, в четвертой — из Бернарда Шоу /"Назад к Мафусашу"/. На основе этих выражений, иными словами, краж, автор делает вывод о неподлинности рассматриваемого документа в целом.

^{x)} Эрнесто Сабато предполагает, что некий "Джамбаттиста", обсуждавший проблему истоков Илиады с антикваром Картафилосом, есть никто иной, как Джамбаттиста Вико; этот итальянец выразил идею, что Гомер — персонаж символический, как Плутон или Ахилл.

По-моему, этот вывод совершенно непримлем. "Когда близится конец, - писал Картагилос, - в памяти не остается образов - одни лишь слова остаются". Слова перепутанные и искалеченные, слова, которые произносили другие - вот жалкая подачка, брошенная ему минутами и веками.
